

«ВЕРНИСЬ, СКАЗАЛ Я...»

Он сыграл желваками, покусал ногти

Андрей
Кончаловский

Кино

В АННСКОМ фестивале 83-го года Жиль Жакоб попросил меня вручить приз — «Золотую камеру». Зазубриваю за кулисами Дворца кино на своем домашнем французском несколько приличествующих случаю фраз. В полумраке натыкаюсь на знакомое лицо. Тарковская. Вокруг обычная суматоха: готовятся к выходу вручающие призы девочки в коротких юбках с букетами.

Андрей холодно улыбнулся. — Ты что здесь делаешь? Последние три-четыре года встречался с ним за рубежом, а внезапно слышал этот вопрос. — Вручаю приз.

В ответ — понимающий кивок. Он расстроен. Гран-при, на который он надеялся и даже заявил в интервью по этому поводу, что никакой другой награды не примет, достался не ему. На столе недомытые бокалы, шампанское, водка. Я выпил рюмку, он отказался.

— Хочу с тобой поговорить. Давая встретиться.

Мы сидели на террасе «Карлтон». Было пасмурно. Пахло морем и акациями. С тех пор как мы перестали работать вместе, что-то в наших отношениях наивно разведенную супружескую пару: мало говорилось, многое подразумевалось. В годы нашей общей работы в кино отношения были раскаленные, интенсивные. Мы были очень взаимосвязаны, взаимозависимы. Затем каждый пошел своим путем...

— Не знаю, как поступить, — сказал Андрей. — Ну, поеду я сейчас в Москву. Денег мало. На «Волгу», допустим, хватит. А что дальше? Что снимать? Они меня все равно не поймут. Посоветуй, как быть.

— Тебя же приглашает не «Мосфильм», — сказал я. — Тебя приглашает правительство. Андронов дал обещание, что те-



А. Тарковский



А. Кончаловский

бя выпустят назад.

Он смотрел на меня, как бы взвешивая, вправду я так думаю или работаю на КГБ. С тех пор как я остался за рубежом, эта мысль, по-видимому, ему приходила в голову.

— Вернись, — сказал я. — Дай перед отъездом пресс-конференцию, как это сделал скрипач Кремер. Скажи, что правительство обещало тебе выдать паспорт. Если не вернешься, значит, тебя арестовали. Ну что они с тобой сделают? Пошлют в Сибирь? Ты звезда!

Он сыграл желваками, покусал ногти.

— Здесь все деньги, деньги, деньги! Но я теперь не мальчик!

— Это ты о чем?

— О Ковент-Гарден, — сказал он. — Я их заставлю мне заплатить как следует.

Он не понимал, что Ковент-Гарден — это театр, и не самый богатый.

Думаю, советуясь со мной, он взвешивал, каков сегодня тот человек, который когда-то был ему близок. Через месяц или два он дал свою знаменитую пресс-конференцию, где публично заявил о полном разрыве с советской властью. После я его уже не видел. Во время работы над оперой он настолько боялся, что его выкрадут, силой переправят в Россию, что даже попросил приставить к нему агента Скотланд-Ярда. Он явно переоценивал значение своего невозвращения для властей. Не те уже были времена. Его обыч-

ная первенство, мнительность еще более развились в последний период. Если бы он тогда вернулся в Москву, получил бы паспорт, уехал бы назад со спокойной душой, то, может быть, и болезнь не смогла бы его так скрутить. Все, все стоило ему нервов; порвать, оставить родителей — это не могло не сказаться и на физическом состоянии. Увы, Андрей тогда мне не поверил, счел мой совет лукавством.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он меня снова и с прежним подозрением, когда мы уже после Канна встретились на Рюда-Рю в Париже (я шел в церковь, он, окруженный облаком обожателей, — из церкви).

— То же, что и ты. Живу. Он многозначительно улыбнулся.

— Нет, мы делаем разное дело.

Я думаю об Андрее, вижу его во сне. Сны мешаются с воспоминаниями. Вспоминаю бессонную ночь, когда мы сидели на даче у моих родителей и настолько уже отупели и опьянели от работы, что наотмашь лупили друг друга по голове рукописью «Рублева», взрываясь хохотом при каждом ударе.

Вот он стоит у окна после какой-то ссоры, задевшей наши тщеславия. За окном моросит российский дождь, в тумане мерцает сирень. Андрей смотрит в сад, говорит, не оборачиваясь:

— Ты что, думаешь, что ты

гений?

Я промолчал, потому что ничуть не сомневался в своей гениальности. Какая радостная младенческая самоуверенность! А вот мы у костра, закусывающие водку печеной картошкой. Мокрые и пьяные, шальные от молодости, от песен, которые пел Гена Шпаликов, измазанные сажей, наперегонки бежим к реке... Слово бы это и не мои воспоминания, а чьи-то чужие, относящиеся к каким-то далеким-далеким прадедовским временам.

Еще вижу его торжественным и бледным. Мы смотрим материал его картины — картины, которой никогда не было. Камера поднимается над забором, на дереве сидит мальчик. Понимаю, что это гениально. Завидую.

Потом мы стоим в коридоре. Я знаю, что он мертв, и у меня щемящее чувство боли и вины. Я знаю, что он мертв, и спрашиваю его: «Ну, как там... вообще?» Вопрос мой относится к тому, что там у них, на том свете. Он ничего не отвечает, улыбается, а сзади маячит санитар в белом халате или англичанин. И вдруг Андрей говорит:

— Ну ладно, летим.

Я смотрю — у него брюки, какие мы носили в начале 60-х. Он наклоняется и медленно-медленно начинает парить над полом. И я так же наклоняюсь, лечу рядом. Дверной проем, соседняя комната, полумрак, распахнутое окно... Мы летим.